Надежда Чародейская

Оценщица проклятых вещей

Дело о чёрной жемчужине

Надежда Чародейская

Оценщица проклятых вещей. Дело о черной жемчужине

Серия «Оценщица проклятых вещей», книга 1

https://litres.ru/74638257
SelfPub; 2026

Аннотация

Москва, 1911 год. Оценщица Дарья Сомова умеет читать память вещей. За каждый слепок она платит теплом и одним собственным воспоминанием — поэтому самое дорогое заранее записывает в реестр стёртого.

Когда в доме купца Медведева находят мёртвой невесту, из запечатанной комнаты исчезает ожерелье чёрного жемчуга. Вскоре оно оказывается на шее другой девушки. Вместе со следователем Игнатом Ларионовым Доре предстоит выяснить, кто выбирает новых невест и почему история украшения ведёт к смерти его брата десять лет назад.

В Москве, где проклятые вещи стоят на учёте, а магия подчиняется ведомствам только на бумаге, нельзя верить даже собственному реестру. И уж точно нельзя примерять то, что оцениваешь.

Содержание

Глава первая. Тройной гонорар 4
Глава вторая. Правила оценки 14
Глава третья. Дом, где считают приданое 24
Глава четвёртая. Под паркетом 33
Глава пятая. Покупатель 40
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Надежда Чародейская Оценщица проклятых вещей. Дело о черной жемчужине

Глава первая. Тройной гонорар

У оценщика проклятых вещей есть три правила. Не снимать перчатки. Не примерять то, что оцениваешь. И не браться за тройной гонорар: если платят втрое, вещь уже убила и собирается повторить.

К половине десятого утра десятого октября 1911 года я уже согласилась на тройной гонорар. К полудню сняла перчатку. Оставалось не примерять чужого.

— Сомова! — Пожарский-младший возник в дверях моего кабинета и ухватился за косяк, как за спасательный круг. — Тройной тариф. Немедленно. Остоженка.

Он был в визитке и домашних туфлях: страховое общество «Пожарский и сыновья» открывалось в девять, но младший из сыновей считал, что владелец имеет право на час личного горя до начала рабочего дня.

— Доброе утро, Аркадий Леопольдович, — сказала я, не

отрываясь от бумаг. — У вас на левом ухе след от подушки. На правом — от жены.

— Это телеграмма из сыскного, — сказал он, проигнорировав и то, и другое. — Медведев. Первая гильдия. Особняк на Остоженке. Там невеста. Мёртвая.

Я подняла голову.

В конторе пахло гуталином, бумажной пылью и чужой бедой. Бедой пахло всегда одинаково — сыростью в подвале, сколько бы духов ни жгли в приёмной. Я работала с обремененными вещами: теми, что были свидетелями чужой беды и не согласились её забыть. Ведомство называло их «объектами с обременением». Я называла вещами. Ведомство не одобряло.

— Полиция? — уточнила я. — Или Гербовое управление?

— Сыскное. И, судя по телеграмме, там уже переругались. — Он помахал бланком. — Требуют оценщика. Желательно с лицензией. Я сказал, что у нас есть.

— У нас есть, — согласилась я. — У нас есть один оценщик с лицензией и без совести. Это я.

— Ты знаешь, что я хотел сказать.

— Что я единственная женщина в Москве, которая умеет читать вещи и не боится испортить перчатки? Да, знаю. Это льстит.

Я закрыла папку. В ней лежало дело часовщика Ремизова: восемь страниц, три свидетеля и одно слово, которое я не решилась записать. Слово было «сестра». Иногда вещи го-

ворят такое, что лучше не слышать.

— Тройной тариф — это сколько?

— Двести сорок рублей.

Я чуть не рассмеялась. Обычная оценка обременённой вещи стоила восемьдесят рублей, сложная — сто двадцать. Двести сорок за утро пахли не щедростью, а трупом, к которому уже нельзя подпускать никого другого.

— Значит, всё плохо, — сказала я и сняла с гвоздя саквояж.

В саквояже лежал формуляр обременённости, лорнет с дымчатым стеклом, перчатки со свинцовой прокладкой, медный грош на удачу и фляжка с крепким чаем. Чай был не для храбрости. Чай был для того, чтобы потом не стучать зубами.

— Сомова. — Пожарский проводил меня до двери. — Ты вернёшься?

— Если вещь не окажется обаятельнее вас.

На улице пахло октябрём и яблоками. По бульварам гремел трамвай, в газетах писали о полёте над Балтикой, а в подворотнях торговали «слезами русалки» по рублю за склянку. Девять из десяти были водой с сахаром. Десятая, как правило, стоила дороже, чем просили.

Москва делала вид, что магия — ещё одно ведомство: со штатом, печатями и часами приёма. Москва врала. Магия была старше ведомств и не любила очередей.

Особняк Медведева стоял на Остоженке, как сундук с

приданым: тяжёлый, тёмный, с окнами, забранными такой ковкой, что за неё можно было держаться. У ворот уже стояли городовые и толпа. Толпа была тихая — так москвичи смотрят на чужое несчастье, когда хотят убедиться, что оно не их.

Меня встретил молодой пристав с лицом человека, который третью ночь не спит и очень хочет, чтобы кто-нибудь другой принял решение.

— Оценщица? — спросил он.

— Оценщица.

— А почему в перчатках?

— Потому что вещи кусаются.

Он не понял, но пропустил.

В гостиной пахло воском, лавандой и мокрой шерстью. На диване сидела женщина в чёрном и не плакала — она смотрела в одну точку, как будто там, в углу, стояла вся её жизнь и не решалась подойти. Рядом переминался купец: Ардалион Прокофьевич Медведев, хозяин. У него было лицо человека, который всю жизнь покупал и продавал, а сейчас впервые не понимал, что именно у него купили.

— Вы из полиции? — спросил он.

— Из страхового общества.

— Вы будете оценивать… — он запнулся, — …это?

— Я буду оценивать вещь, — сказала я. — С телом работают другие.

— Вещь пропала, — сказал из-за моей спины голос.

Он был ровный, как линейка. Я обернулась.

Надворный советник Игнат Ларионов был из тех людей, которых заказывают в трёх экземплярах: один — в министерство, второй — в музей, третий — жене. Светлые волосы, серое пальто, лицо без единой лишней черты. В руке — папка. В глазах — скука человека, который уже видел всё, включая то, чего не было.

— Надворный советник Ларионов, — представился он. — Вы Сомова? Лицензия?

Я достала из саквояжа карточку. Он изучал её дольше, чем нужно, — так изучают человека, которому собираются не поверить.

— «Оценщик второй категории. Допуск к обременениям до четвёртой статьи включительно», — прочитал он. — То есть вы умеете говорить с вещами.

— Я умею их слушать. Говорят они сами.

— Я в это не верю.

— А они в вас верят, ваше высокоблагородие. Это взаимно.

Впервые за утро в его лице что-то шевельнулось. Не улыбка. Тень улыбки, которую он тут же убрал обратно.

— Тело наверху, — сказал Ларионов. — Комната заперта изнутри. Окно запечатано, печать целая. Из шкатулки пропало ожерелье. Если вы умеете слушать вещи — начните с того, что осталось.

Наверху было холоднее. Я поднималась по лестнице и счи-

тала шаги — привычка: если вещь начнёт говорить, мне нужно знать, откуда я пришла.

Спальня невесты была в конце коридора. Дверь опечатана. Внутри нас встретил запах фиалки — слишком живой для комнаты, в которой умер человек.

Лидия Аркадьевна Грохольская лежала в ванне.

Вода была чёрной. Не грязной — чёрной, как чернила, и в ней не отражалось ничего, кроме потолка. Кремовое подвенечное платье расплылось по воде; мокрое кружево прилипло к борту. На шее — тонкая розовая полоса, будто от слишком тесного объятия. Ожерелья не было.

В комнате стоял ещё один человек — судебный врач, который смотрел на тело так, как смотрят на часы, отставшие от расписания.

— Время смерти? — спросил Ларионов.

— Между полуночью и двумя.

— Причина?

— Утопление. — Врач помолчал. — В воде. В ванне.

— А полоса на шее?

— Была до воды. След от украшения. Плотного.

Ларионов писал. Я смотрела на воду. Вода не любит вещи: она их забирает и не помнит. Если ожерелье было здесь, оно уже не расскажет, как выглядела комната. Но осталась заколка.

Она лежала на туалетном столике — простая, серебряная, с одной жемчужиной. Морской, не речной. В комнате,

где всё кричало о деньгах, эта заколка выглядела как чужая мысль.

— Господа, — сказала я. — Мне нужно остаться одной.

— Исключено, — сказал Ларионов.

— Тогда я скажу вам то, что скажет вещь, и вам придётся поверить оценщице второй категории. Вам это не понравится.

Он посмотрел на меня. Я — на него. Молчание длилось ровно столько, сколько нужно, чтобы часы в коридоре успели тикнуть три раза.

— Три минуты, — сказал он. — Я буду за дверью. Если вы упадёте — я войду.

— Если я упаду, — сказала я, — не входите. Я всегда падаю молча.

Дверь закрылась.

Я сняла правую перчатку.

Это было против всех правил. Первое: не снимать перчатки. Второе: не примерять то, что оцениваешь. Два правила уже остались позади: я взялась за тройной гонорар и сняла перчатку. Свинцовая прокладка берегла меня от чужой памяти. Голые руки не берегли ни от чего. Говорят, оценщики, которые работают без перчаток, живут быстро и умирают молодыми. Я работала в перчатках и всё равно жила быстро.

Я коснулась заколки.

Сначала пришла пыль. Она пахла фиалками и дорогим мылом. Потом — свет. Не утренний, а тот, что бывает в ком-

нате, где ещё не зажгли лампы, но уже не могут без них. Лидия сидела перед трюмо. В отражении у неё на шее лежало чёрное ожерелье — тридцать две бусины, я успела посчитать. За её спиной стоял кто-то, кого зеркало не показывало.

Я слышала голос. Не мужской, не женский — как будто множество людей говорило шёпотом одно и то же слово.

— Тебе не по размеру, — сказало ожерелье.

Лидия улыбнулась. Ей было двадцать четыре, она была красива и испугана, но не понимала, что именно её пугает. Так смотрят на чужую собаку, которая ещё не укусила.

Она подняла руки, чтобы снять украшение. Пальцы прошли сквозь жемчуг, будто сквозь воду. Ожерелье осталось на шее.

— Тебе не по размеру, — повторило оно. — Тебе по размеру будет другая.

И тогда я увидела ванну. Воду. Она ещё не была чёрной — она была обычной, тёплой, с мыльной пеной у борта. Лидия шла к ней медленно, как идут в примерочную. Она ещё думала, что выбирает сама.

Я отпустила заколку.

Пальцы не болели. Это было хуже: пальцы не чувствовали ничего, будто я подержала руку в снегу. Я знала, что где-то в памяти была дыра — маленькая, аккуратная, как след от пуговицы. Вторник. Уже не помню, какой. Я достала записную книжку и записала: «Вторник. Что-то было».

Дверь открылась раньше, чем я успела надеть перчатку.

— Что вы видели? — спросил Ларионов.

Я смотрела на его руки. Он держал папку, и на папке лежала тень. Не от меня. От кого-то, кто стоял в комнате и не отражался в зеркале.

— Что ожерелье не украли, — сказала я. — Оно ушло само.

— Вещи не уходят из запертых комнат, — сказал он.

— Именно поэтому я здесь.

Он молчал. Я надела перчатку, и чёрный след на правой ладони — маленький, круглый, как от жемчужины, — скрылся под кожей перчатки. Я не касалась жемчуга. Я касалась только заколки.

— Где шкатулка? — спросила я.

Шкатулка стояла на трюмо: тяжёлая, с инкрустацией, с бумажной лентой и печатью. Печать была целая. Ларионов надрезал ленту, открыл крышку.

Внутри лежал бархат. На бархате — вмятина от ожерелья. И всё.

— Оно обременено? — спросил Ларионов.

— Четвёртая статья, — сказала я. — «Голод».

Он поднял глаза.

— И что это значит?

— Это значит, что оно уже ело, — сказала я. — И ещё не наелось.

За окном прошёл трамвай. Внизу плакала женщина в чёрном — наконец-то заплакала, как будто разрешила себе. На

подоконнике сидел кот, которого минуту назад не было. Городовой смотрел сквозь него, как сквозь дым. Кот моргнул и не ушёл.

— Сомова. — Ларионов впервые назвал меня по фамилии без паузы. — Вы побледнели.

— Профессиональное, — сказала я.

Я не сказала ему главного. Ожерелье не украли и не потеряли. Оно попрощалось. И в тот момент, когда я отпустила заколку, я услышала ещё одно слово — не шёпотом, а совсем рядом, у самого уха, как будто кто-то наклонился ко мне из-за плеча.

«Следующая — ты».

Я застегнула перчатку. За окном Москва жила обычной жизнью: трамвай, газеты, по рублю за слезу русалки. Я взяла саквояж и пошла туда, где заканчивается обычная Москва.

Глава вторая. Правила оценки

К двум часам я была в конторе, за своим столом, и заполняла формуляр.

Формуляр обременённости — главный документ в жизни оценщика. В нём двадцать четыре графы: предмет, материал, приметы, история владения, статья, цена риска и подпись. Пишется он в трёх экземплярах: первый остаётся в конторе, второй уходит заказчику, третий — в Опись, в синюю книгу, которая толще Евангелия и, в отличие от Евангелия, не прощает ошибок.

Графа «приметы» всегда самая длинная.

«Ожерелье. Чёрный жемчуг, тридцать две бусины, застёжка серебряная, с монограммой „Л. Г.“. Нить двойная, шёлковая, тёмная». Я писала и чувствовала, как стынут пальцы — не от холода, от привычки. Вещи любят, когда о них пишут. Они тянутся к бумаге, как кошки к человеку, который их боится.

— Сомова, — Пожарский-младший вошёл без стука, что у него означало высшую степень волнения. — Какая статья?

— Четвёртая.

Он сел в кресло для посетителей — то самое, с продавленным сиденьем, куда обычно сажали купцов, — и стал похож на купца, которому только что сказали, что товар сгорел вместе с лавкой.

— Четвёртая, — повторил он. — Ты уверена?

— Я редко бываю уверена в людях, Аркадий Леопольдович. В вещах — почти всегда.

— Четвёртая статья — это… — он поискал слово, — это дорого.

— Это «голод», — сказала я. — То есть вещь хочет не действия, а чувства. Ей нужен страх, или любовь, или отчаяние — что-нибудь горячее. Кормить её нельзя.

— А если покормят?

— Тогда покормленный обычно не приходит на службу.

Пожарский достал платок и промокнул лоб. В конторе было прохладно; октябрь в Москве в том году выдался честный, без бабьего лета, и в окна тянуло с бульвара мокрым листом. Но у младшего из сыновей был свой климат, и климат этот назывался «перестраховка».

— Страховое общество «Пожарский и сыновья», — сказал он с тоской, — существует сто лет. Сто лет, Сомова. И за сто лет мы ни разу не платили по обременению четвёртой статьи.

— Тогда у вас юбилей.

— У меня не юбилей! — он вскочил. — У меня полис! Понимаешь? Полис!

Я положила перо.

Вот оно что.

— Полис на кого?

— На невесту. — Он сел обратно, уже тише. — Заключён

месяц назад. Пятьдесят тысяч. Приказчик привозил бумаги, подписывал отец. Но настаивал, говорят, сын: в деловых делах, мол, так принято, а в доме ценности. Ну и… на случай.

— На случай, — повторила я. — А теперь случай наступил, и вы вспомнили, что страхование жизни — это когда платить приходится вам.

— Не так грубо.

— Как умею.

Пожарский смотрел на меня с видом человека, который очень хочет обидеться, но боится, что оценщица второй категории обидится сильнее и уйдёт вместе с формуляром.

— Ты можешь написать третью статью? — спросил он наконец. — Ну… с оговоркой. Вещь ведь не нашли при ней. Может, она просто украдена. По третьей статье гибель ещё можно признать не связанной с обременением. У нас на это отдельный пункт.

— Вы платите по полису не за вещь, а за человека.

— Сомова.

— Аркадий Леопольдович. — Я отложила перо и посмотрела ему в глаза. — Если я напишу третью статью, вещь об этом узнает. Я не шучу. Обременённые вещи читают наши формуляры так же, как мы читаем телеграммы: с интересом и злобой. И тогда у вас будет не одна мёртвая невеста, а одна мёртвая невеста и один оценщик, который соврал в документах.

Он молчал.

— И ещё, — добавила я. — За тройной гонорар я обязана сказать вам правду. У вас, кажется, есть клиентка, чья смерть оказалась кому-то слишком выгодна.

Пожарский вздрогнул так, будто я стукнула по столу. А потом в приёмной звякнул колокольчик, и в дверях вырос надворный советник Ларионов, сухой и аккуратный, как гербовая бумага.

Пожарский поднялся так поспешно, что кресло стукнулось о стену. Ларионов дождался, пока он выйдет, подошёл к моему столу и вынул из папки сложенный лист. Краем бумаги он отодвинул формуляр — осторожно, будто тот мог запачкать постановление.

— Постановление, — сказал он, положив на стол лист. — О привлечении оценщика к осмотру обременённого предмета. Подпишите.

Я прочитала. Всё было правильно, кроме одного пункта: «Показания оценщика не являются доказательством и приобщаются к делу как справочный материал».

— Приятно, — сказала я. — Строго говоря, доказательство — это всё, что я скажу. Просто суд об этом ещё не знает.

— Подпишите.

Я подписала. Он забрал лист, промокнул подпись — и вдруг сел, чего я от него не ожидала. У Ларионова была манера стоять даже в гостях.

— У меня три дня, — сказал он. — Потом дело заберут в Гербовое управление.

— Почему три?

— Потому что Медведев написал прошение на высочайшее имя, а купцы первой гильдии пишут его быстро и с ошибками. Ваше ведомство любит ошибки: на них удобно делать карьеру. Как только бумага дойдёт, у меня останется один протокол и одна неприятность.

— А сейчас у вас что?

— Сейчас у меня тело, исчезнувший предмет и ваша лицензия. — Он помолчал. — Раз вы умеете слушать вещи, объясните мне, что это за статьи. Я читал устав, но устав написан людьми, которые никогда не видели обременения.

Мне понравилось, что он это признал. Я не сказала ему об этом вслух, потому что это испортило бы отношения раньше времени.

— Статья первая — «шелест», — сказала я. — Вещь помнит и иногда шепчет. Опасна только для тех, кто прислушивается.

— Как это — шепчет?

— Как старуха в церкви. Слова знакомые, а смысл нехороший.

— Вторая?

— «Зов». Вещь начинает звать. Человек слышит своё имя — в пустой комнате, в воде, в чужом голосе. Если он отзовётся трижды, вещь получает право на первый шаг.

Ларионов достал блокнот и начал писать. Надворные советники не верят в мистику, но конспектируют её очень ак-

куратно — на случай, если начальство окажется верующим.

— Третья?

— «Привычка». Вещь просит повторения. Не обязательно страшного: чашка хочет, чтобы из неё пили, нож — чтобы им резали. Люди называют это характером вещи и не замечают, что уже служат.

— А четвёртая?

— «Голод», — сказала я. — Вещь, которая поняла, что человек вкуснее, чем предмет. Ей нужны чувства: страх, любовь, отчаяние. Она не убивает сразу. Сначала она выбирает.

— Выбирает кого?

— Того, кто подходит по размеру.

Он перестал писать.

— Вы сказали врачу, когда вышли, — тихо проговорил он. — «Тебе не по размеру». Это её слова?

— Её слова, — сказала я. — Эта не подошла. Теперь ей нужна другая.

В приёмной зазвонил телефон — новомодная штука, которую Пожарский поставил для солидности и боялся, как чёрт ладана. Никто не снял трубку.

— Есть пятая статья? — спросил Ларионов.

— Есть.

— И что она?

— «Смерть». Вещь уже не кормится чувствами: она питается самой жизнью. Голодная вещь тоже может убить, но смерть для неё — следствие, а не цель.

— А шестая?

— Шестой нет, — сказала я. — Если вещь перестаёт укладываться в пять статей, Опись закрывают на особый разбор. Приезжают люди из Гербового управления. Все. Сразу.

— И что они делают?

— То, что не пишут в уставе.

Он смотрел на меня долго, без всякого выражения, и я впервые подумала, что его скука — не характер, а работа. Такое лицо делают люди, которые очень боятся показать, что им не всё равно.

— Три дня, — повторил он, вставая. — И, Сомова, — он уже был в дверях, — не пишите в отчёте ничего, чего не сможете доказать в суде.

— Я пишу только то, что говорит вещь, — сказала я. — А вещи, ваше высокоблагородие, в суде не лгут. Им это нечем.

Он ушёл, а я достала из ящика записную книжку и раскрыла её на закладке.

«Реестр стёртого» — так она называлась, хотя на обложке было написано «Оценки, черновики». Я завела её шесть лет назад, после одного дела в Замоскворечье, о котором не рассказываю даже Поле. В реестре я пишу то, что боюсь забыть. Заранее. Пока помню.

«Апрель. Гроза на даче. — День рождения Поли, ей было девять. — Как пахло отцовское пальто. — Голос мамы на лестнице. — Вторник. Что-то было».

Последнюю строчку я дописала сегодня утром, после за-

колки. Строчка стояла в конце, аккуратная, как заплатка на локте: я знала, что во вторник что-то было, и знала, что больше не вспомню. Слепок берёт тепло и одно воспоминание. Тепло возвращается — чаем, печкой, чужим пальто. Воспоминания не возвращаются никогда.

Я взяла перо и дописала под сегодняшним числом:

«Ожерелье. 32 бусины. Статья IV. Голод. Сказало: „Следующая — ты“».

Чернила высохли быстро. Из соседней комнаты доносился скрип паркета: Пожарский-младший ходил из угла в угол. Кажется, совесть всё-таки мешала ему сидеть.

До вечера я сводила показания с описью. Выходило скверно: предмет исчез, человек погиб, а бумаги сходились лучше, чем следовало. Я перепроверила копии, заперла их в столе и только тогда посмотрела на часы. Домой пришлось идти быстро. Поля умела ждать, но не любила, когда я считала это её обязанностью.

Дома пахло керосином и акварелью.

Мы жили на Садовой, в трёх комнатах над часовой мастерской, и платили вперёд — так спокойнее для всех, кроме моего кошелька. Поля сидела за столом, поджав ноги на стул, и рисовала. У неё была привычка грызть кисть в задумчивости, и кончик кисти у неё всегда был синий.

— Ты опоздала, — сказала она, не поднимая головы. — Гречка остыла.

— Я была на службе.

— На службе — это когда платят, а не когда ты приходишь и говоришь, что тебе не заплатят.

Я не стала спорить. Поля училась в гимназии на Пречистенке, носила форменное платье, которое я ей перешивала второй год, и говорила со мной как старшая сестра, которой у меня никогда не было.

— Что рисуешь?

— Сон.

Она повернула лист.

На листе была вода. Чёрная, без блеска, как в той ванне на Остоженке. В воде лежала женщина в светлом платье, и её волосы расплывались по поверхности, как чернила в молоке. У женщины на шее было ожерелье — Поля прорисовала каждую бусину, тридцать две штуки, я успела сосчитать, прежде чем отвести глаза.

Я не сказала ей про ванну. Я не сказала ей даже, куда меня вызвали утром.

— А почему фон чёрный? — спросила я, потому что молчать было хуже.

— Потому что там темно, — сказала Поля. — Дора, а кто это стоит у тебя за спиной?

Я обернулась.

За мной была стена. Обои с мелким цветком, купленные на Сухаревке в год, когда мы сюда переехали; отстающий угол, который я всё собиралась подклеить; гвоздь, на который я вешала саквояж.

На подоконнике сидел кот.

Он был серый, с ободранным ухом, и я его не впускала. Он не мяукал и не просил есть. Он просто сидел и смотрел на стену за моей спиной так внимательно, как смотрят на человека, с которым ещё не поздоровались.

— Никого там нет, — сказала я. — Ешь гречку.

Поля посмотрела на меня, потом на кота, потом снова на меня — и ничего не сказала. Умная девочка. За это я и платила за её гимназию.

Ночью я долго не могла уснуть. Вода в графине стояла неподвижно, и в ней отражалась свеча. А когда я всё-таки закрыла глаза, мне показалось, что в комнате кто-то есть — не у стены, а ближе, у самого изголовья, и что этот кто-то ждёт, когда я наконец засну.

Кот остался на подоконнике. До утра.

Глава третья. Дом, где считают приданое

Все даты я записываю по старому стилю — как в казённых бумагах.

На панихиду меня не приглашали, но Ларионов сказал: «Приходите как оценщик при описи имущества». Он умел сказать так, чтобы приглашение звучало как повестка, а повестка — как одолжение.

Двенадцатого октября, в десять утра, я стояла во дворе особняка Медведевых и смотрела, как выносят венки.

Двор был широкий, с каретным сараем и поленницей, сложенной с купеческой аккуратностью: поленья с поленьями, как солдаты в строю. Пахло ладаном, мокрым песком и лошадьми. Городовые скучали у ворот. Из открытых дверей доносилось пение — негромкое, женское, на два голоса, — и от этого пения хотелось снять шляпу, хотя шляпы у меня нет.

Меня встретил приказчик.

— Терентий Кузьмич, — представился он и поклонился так низко, что я успела рассмотреть пробор в его редких волосах. — По описи? Пожалуйте. Только хозяин… того. Не в себе.

Приказчик был из тех людей, которые всю жизнь остаются приказчиками, даже когда становятся хозяевами. Он го-

ворил шёпотом, ходил боком, а на левом мизинце у него было серебряное кольцо — след года, когда он сам себе позволил одну красивую вещь.

В доме было людно. Купцы стояли кучками, как воробьи на проводе, и говорили о ценах, потому что не умели говорить о смерти. Женщины в чёрном негромко обсуждали приданое. Кто-то произнёс: «Три сундука», — и все вздохнули так, будто это многое объясняло.

За платочками и венками я не сразу разглядела главных.

Клеопатра Ильинична Медведева сидела в кресле у окна — прямая, сухая, в чёрном, с брошью на груди величиной с хорошую сливу. Когда я вошла, она не повернула головы, но я почувствовала, как меня посчитали. Не оценили — именно посчитали, как считают деньги в чужих руках.

— Оценщица, — произнесла она вместо приветствия. — Пришли пересчитывать, что осталось.

— Пришла описать имущество невесты, — сказала я. — По требованию страхового общества и сыскного управления.

— По требованию. — Она усмехнулась, и в этой усмешке было больше горя, чем во всех венках во дворе. — Все всё требуют. Всю жизнь от меня что-то требуют: паспорт, приданое, поклон. А теперь — опись.

— Клеопатра Ильинична, — сказал приказчик мягко, почти заискивающе, — позвольте барышне пройти.

Она позволила — одним движением брови.

Мы поднялись на второй этаж, и там мне навстречу вышел

жених.

Савва Ардалионович Медведев был красив той купеческой, сытой красотой, которая рано портится: светлый, гладкий, с ресницами, которыми можно было бы укрыться от дождя. Он был в трауре, и траур ему шёл. Он вообще умел носить всё — и одежду, и горе, и роль.

— Следователь сказал, что вы читаете вещи, — сказал он вместо здравствуйте. — Это правда?

— Правда.

— И что вы прочтёте у меня?

— Что вы позволите, Савва Ардалионович.

Он усмехнулся — быстро, некрасиво, — и отошёл к окну.

В спальне, где жила Лидия, ничего не изменилось с того утра, кроме запаха. Ванну вынесли, пол вытерли, фиалки вынесли на воздух, и от всего этого стало только хуже: комната стала похожа на комнату, а не на место, где погибла девушка.

Приказчик принёс книгу в кожаной обложке и положил на стол.

— Приданое, — сказал он. — Клеопатра Ильинична сама вела. Всё до копейки.

Список был на четырёх листах, писаный аккуратным женским почерком, с твёрдыми, как гвозди, буквами. «Шуба соболья — 1 200». «Серебро столовое, 84 пробы, 14 предметов». «Бельё голландское, 6 дюжин». «Образ в окладе». И под номером семнадцатым: «Ожерелье чёрного жемчуга, 32 бусины — 3 000 р.».

Три тысячи. За три тысячи в Москве можно купить дом в Замоскворечье и жить без забот, если не иметь привычки к приличиям.

— Оно было куплено в лавке Гурвича на Арбате, — сказал приказчик, не дожидаясь моего вопроса. — В августе. Клеопатра Ильинична сама торговалась.

— Сама, — раздалось от двери.

Клеопатра Ильинична стояла на пороге.

— Я сама торговалась, — сказала она. — И не жалею. Девочка должна была выглядеть, как надо. Мне не в чем себя упрекнуть.

— Я и не упрекаю, — сказала я.

— Ещё будете. — Она вошла и села в кресло, не предложив мне сесть. — Все упрекают. Муж — за цену, сын — за манеры, а эта… — она запнулась и вдруг закончила совсем тихо: — Эта за то, что я её любила не так, как она хотела.

В комнате стало тихо. Приказчик смотрел в пол. Савва у окна не обернулся.

Я достала формуляр и стала работать. Это всегда спасало: когда люди говорили о чувствах, я описывала вещи.

Серебро, бельё, футляры. Приказчик называл предметы, я сверяла их со списком, а Клеопатра Ильинична поправляла его всякий раз, когда он путал стоимость с количеством. Савва ушёл первым. Дождавшись конца описи, я собрала листы и вынесла приданую книгу в коридор: некоторые суммы лучше обсуждать без хозяев.

— Пятьдесят тысяч, — сказала я Ларионову час спустя, в коридоре. — Полис заключён месяц назад. Выгодоприобретатель — семья жениха. Наша контора подписывала.

Ларионов листал приданую книгу так, будто надеялся найти в ней вторую невесту.

— Я видел полис, — сказал он. — И знаете, что интересно? Медведев сам настоял на страховке. Не отец, не мать — сын. Говорил, что в деловых делах нынче так принято.

— И сколько у него дел?

— Мануфактура в Серпухове на грани. Векселя. Долг по партии хлопка — кажется, ноябрь — срок. — Он закрыл книгу. — Мотив прекрасный. Проблема в том, что мотив — это ещё не убийство.

— Алиби?

— Купеческий клуб. До трёх ночи. — Ларионов усмехнулся одним углом рта. — Знаете, что говорят в купеческом клубе, когда жена брата спрашивает, где был муж? Всё, что он скажет.

— То есть алиби у него есть, а держится оно на людях, которые ему должны.

— Именно.

Мы стояли в коридоре, из которого вынесли все картины, и в стене торчали крюки. Дом без картин похож на человека, который снял очки.

— В комнате я нашла молитвенник, — сказала я. — Его не было в описи. Хотите посмотреть?

Хотеть он не хотел, но пошёл.

Молитвенник был маленький, в потёртой коже, с закладкой из вощёной бумаги. Я открыла его на закладке. Между страницами лежала половина письма — вторая, оторванная наискось, с неровным краем. Почерк был быстрый, женский, с сильным наклоном:

«…в среду, в Пассаже, у третьего фонтана. Если не приду — значит, он меня нашёл. Не ищи меня и никому не говори. Я знаю, что делаю. Л.»

Ларионов прочитал и не изменился в лице. Но я стояла близко и слышала, как у него изменилось дыхание.

— Почему она не отдала это вам? — спросил он.

— Потому что не доверяла.

— Кому?

— Вам, — сказала я. — Или тому, кому вы подчиняетесь. Половина письма — это половина правды. Вторая половина у кого-то другого.

Он забрал письмо, аккуратно сложил и убрал в папку. Я не стала спорить — не из уважения к закону, а потому что заметила кое-что другое.

На спинке стула висела перчатка.

Мужская, лайковая, светлая, с отпечатком чужой руки, ещё не остывшим. Савва снял её, когда вошёл, и забыл, потому что люди, у которых горе, забывают перчатки, а люди, у которых есть что скрывать, — тем более.

— Я ещё раз пройдусь по комнате, — сказала я громко.

— Одна.

Ларионов посмотрел на меня, на стул, на перчатку — и, кажется, всё понял. Но ничего не сказал. Он вообще умел молчать так, что молчание было формой разрешения.

Дверь закрылась.

Я сняла перчатку — свою правую — и взяла чужую.

В коридоре, за дверью, кашлянул приказчик. Часы внизу пробили один раз. Я успела подумать, что за тройной гонорар вещи должны говорить правду, и это единственное, за что им можно доверять.

Потом лайка стала тёплой, и комната исчезла.

* * *

Я стояла в этой же комнате, но здесь горела лампа, и было поздно — так поздно, что ночь уже перестаёт быть вечером и становится утром.

Савва держал Лидию за запястье.

— Ты сама сказала «да», — говорил он тихо и очень ровно, и от этой ровности мне стало холодно. — При всех сказала. Отец заплатил за ожерелье три тысячи. Три тысячи, Лида. Ты понимаешь, что это за деньги?

— Я не могу его носить, — отвечала она. — Оно меня не любит.

— Дура. — Он отпустил её запястье и вытер руку о полу сюртука, будто прикосновение было к чему-то липкому. — Все бабы дуры. Оно дорогое, этого достаточно.

Лидия отошла к окну. В стекле отражалась лампа и её ли-

цо — бледное, спокойное, с тем особым спокойствием, которое бывает у людей, уже принявших решение.

— Савва, — сказала она, — я не поеду венчаться.

Он не закричал. Он посмотрел на неё — и вдруг улыбнулся, и от его улыбки у меня внутри всё сжалось, потому что так улыбаются люди, которые уже нашли способ поставить на своём.

— Поедешь, — сказал он. — Куда ты денешься.

Дверь скрипнула. Лидия обернулась; Савва обернулся тоже. Но в комнате никого не было, а на пороге лежала тень — длинная, тонкая, будто кто-то стоял в коридоре и слушал.

Я отпустила перчатку.

* * *

Меня качнуло. Я оперлась о трюмо и посмотрела на своё отражение — бледное, с чёрными глазами, в которых уже не осталось ни тепла, ни удивления.

Правая рука не чувствовала ничего.

Зато в памяти стало тише. Я попыталась вспомнить, почему у нас дома всегда стоит жестянка с чабрецом — и не смогла. Просто жестянка. Просто чай. Просто привычка, у которой больше нет причины.

Я достала реестр и записала: «Чабрец. Зачем — было, больше нет».

Потом надела перчатку и вышла в коридор, где меня ждали Ларионов, приказчик и Клеопатра Ильинична, и сказала:

— Оно не крадёт. Оно примеряет.

Клеопатра Ильинична посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который сказал вслух то, о чём все молчали.

— Кто примеряет? — спросила она.

— Невеста, — сказала я. — И, судя по всему, она уже нашлась.

Внизу запели громче. Во дворе кто-то заплакал. И в этой какофонии я отчётливо услышала ещё один звук — тонкий, стеклянный, будто где-то в доме пересчитали жемчуг и остались довольны.

Глава четвёртая. Под паркетом

— Мой брат, — сказал Ларионов.

Мы стояли в той же комнате, у того же стола, и он держал в руках фотографию, от которой осталась половина. На половине был молодой человек в студенческом сюртуке, снятый у коновязи, — худой, с высоким воротником и с той небрежностью позы, которая у людей двадцати лет называется характером.

— Это Дмитрий, — сказал Ларионов. — Он умер в тысяча девятьсот первом году. Утонул.

В комнате стало очень тихо. Даже часы внизу, казалось, перестали бить, чтобы не мешать.

— Где? — спросила я.

— В Москве-реке. — Он говорил ровно, как по протоколу. — В июне. Нашли на третий день, ниже Бабьегородской плотины. В деле написали «несчастный случай».

— А вы что написали?

— Я тогда ничего не писал. — Он положил фотографию на стол, но руки не убрал. — Мне было пятнадцать. Я слушал, как взрослые говорят «несчастный случай», и запоминал, потому что собирался стать следователем.

Я села на край стула. Ноги, после слепка, держали плохо.

— На второй половине была женщина, — сказала я.

— Была.

Вторая половина фотографии осталась у кого-то другого — та, где стояла невеста. Половину с Дмитрием Лидия хранила в жестяной коробке под паркетом, вместе с письмами и одной жемчужиной.

Коробку нашёл Ларионов. Он ходил по комнате так, как ходят по чужому дому люди, привыкшие искать не глазами, а ступнями: медленно, прислушиваясь к полу. У третьей доски, возле печи, звук был другой — глухой, короткий. Доска поддалась от ножа. Под ней, в пыли, лежала коробка из-под чая, обёрнутая в шерсть.

В коробке были письма.

Я не читала их. Я их слышала — пальцами, через свинцовую перчатку, глухо, как слышат музыку через стену. Слова складывались в чувство, а не в текст: сначала было тепло, потом — страх, потом — торопливая, отчаянная нежность. И в самом низу, под бумагой, лежала одна жемчужина. Чёрная, круглая, тёплая, как живая.

— На слепке было тридцать две бусины, — сказала я. — А здесь ещё одна.

— Значит, ожерелье разобрано, — сказал Ларионов.

— Не думаю. — Я смотрела на жемчужину и не брала её. — Возможно, Лидия прятала её, чтобы помнить: всё это происходит на самом деле.

Я поднесла лорнет. На чёрном боку проступил тонкий шов.

— Нет. Это не бусина. Отпечаток. Иногда вещь оставляет

такой рядом с тем, кого метит.

Ларионов осторожно закрыл коробку.

Он не понял. Я и не ждала. Люди, которые не слышат вещей, всегда думают, что вещь — это предмет. А вещь — это решение, которое кто-то принял и не смог отменить.

— А кто был её женихом? — спросила я.

— Я не знаю, — сказал Ларионов, и я впервые услышала в его голосе ложь. Не грубую, не купеческую, а аккуратную, служебную ложь человека, который привык оставлять себе право на неполный ответ.

— Вы знаете.

— Я знаю, что моему брату было двадцать два, — сказал он резко. — И что за месяц до смерти он перестал бывать дома. И что отец сжёг его бумаги во дворе, в жестянке из-под керосина, потому что «в доме не должно быть срама». Всё остальное — мои домыслы.

— Домыслы о чём?

Он посмотрел на меня. В его серых глазах не было ни тепла, ни холода — только усталость человека, который десять лет носит с собой одну и ту же ношу и уже не помнит, где он, а где она.

— О том, что женщина, с которой он встречался, утонула за неделю до него, — сказал он. — И что её звали Елизавета Андреевна Тонева.

Жемчужина на дне коробки чуть слышно звякнула о жесть. Это, конечно, был сквозняк. В комнате с заклеенны-

ми окнами сквозняков не бывает, но я предпочла думать, что сквозняк.

Ларионов придержал крышку коробки пальцем, не давая ей захлопнуться. Я заметила, что он смотрит не на фотографию брата, а на чёрный отпечаток под письмами. Можно было спросить, почему он сразу не рассказал мне о Лизе. Вместо этого я подвинула коробку к свету.

— В деле о первой невесте, — сказала я, — фигурировало ожерелье?

— В деле о первой невесте, — Ларионов усмехнулся, — фигурировал мой брат, портовая контора, две ссоры и река. Об ожерелье в протоколах допросов ни слова.

— А где теперь дело?

— В архиве. — Он помолчал. — Я его видел. Один раз. Недавно — когда мне наконец открыли архив.

— И?

— И, — он поднял палец, — в описи имущества покойной был пункт семнадцать.

У меня похолодели пальцы. Впервые за утро — не от магии.

— Семнадцать, — повторил он. — «Ожерелье чёрного жемчуга. Тридцать две бусины».

Я достала приданую книгу Медведевых, открыла четвёртый лист и положила рядом с его папкой.

«Ожерелье чёрного жемчуга, 32 бусины — 3 000 р.»

Десять лет. Две разные семьи. Одна и та же строка. В ста-

рой описи цены не было; в новой стояли три тысячи. За десять лет чужая смерть превратилась в статью приданого.

— Скажите мне, что вы об этом думаете, — сказал Ларионов.

— Я думаю, что нам нужно в Пассаж, — сказала я. — Сегодня как раз среда.

Мы оставили коробку под расписку и вышли из дома через боковую дверь. Ларионов всю дорогу держал папку на коленях, прижав к ней ладонь. Я не мешала ему молчать. На шумных улицах молчание не так бросается в глаза, а мне нужно было ещё раз вспомнить обрывок письма: среда, Пассаж, третий фонтан.

Третий фонтан в Пассаже был не фонтан, а чугунная чаша с водой, в которой плавали медные монеты и один дохлый мотылёк. Купцы бросали туда деньги на удачу, приказчики — на любовь, гимназистки — просто так. Вода в чаше не отражала ничего, кроме стеклянного потолка, и от этого казалась глубже, чем была.

Мы пришли к четырём. Я — в перчатках, Ларионов — с видом человека, который пришёл арестовать воздух.

— И что теперь? — спросил он.

— Теперь ждём.

Мы ждали час. Мимо ходили дамы с покупками, мальчишки-разносчики, старик-тапер, игравший вальс так, будто ему за это платили враги. За этот час ни женщина в трауре, ни мужчина с фиалкой в петлице к третьему фонтану не по-

дошли.

Я уже собиралась сказать, что письмо — тупик, когда вода в чаше вдруг пошла кругами.

В чаше не было ни струи, ни стока. Но по поверхности, от края к центру, побежала рябь, и монеты на дне повернулись все разом, будто кто-то пересчитал их одним движением.

Я наклонилась.

На дне, среди меди, лежала белая карточка. Я достала карточку пинцетом из саквояжа, положила на каменный бортик и прочитала:

«Оценщица, у вас хороший вкус. Не портите его».

Почерк был ровный, канцелярский, с сильным нажимом. Бумага — плотная, дорогая, с тиснёным обрезом. На обороте — маленькая фиалка, нарисованная тушью, и цифра: «17».

Ларионов прочитал через моё плечо и ничего не сказал. Впервые за весь день он выглядел не следователем, а человеком — просто человеком, которому очень хотелось, чтобы этого не было.

— Он знал, что мы придём, — сказала я. — И знал, что мимо этого фонтана я не пройду.

— Он знал, что вы оценщица.

— Все знают, что я оценщица, ваше высокоблагородие. В Москве двести оценщиков, и половина из них — женщины, которые оценивают мебель. — Я спрятала карточку в саквояж. — Он знал, что дело у меня, а не у Гурвича.

— У кого?

— У антиквара, который продал ожерелье. — Я застегнула саквояж. — Пойдёмте, пока он не закрыл лавку. Завтра, я думаю, будет поздно.

Ларионов посмотрел на чашу с водой.

— Сомова, — сказал он. — Если вы правы, и это не кража…

— Это не кража.

— …то почему он не боится? Он пишет вам записки, он назначает встречи, он оставляет следы.

Я повернулась и посмотрела на него — на человека, который десять лет носил с собой одну и ту же смерть и научился называть её «несчастным случаем».

— Потому что он нас не боится, — сказала я. — Он собирает коллекцию. А мы — как раз то, чего в ней не хватает.

Глава пятая. Покупатель

Лавка Гурвича на Арбате была из тех, что стоят между часовой мастерской и портным и кажутся дверью в чужое детство.

Вывеска — «Антикваръ и ювелиръ Г. И. Гурвичъ» — висела криво и была вычищена до блеска, как будто хозяин гордился не товаром, а самой возможностью повесить своё имя над улицей. В витрине — самовар без ручки, бронзовый амур с отбитым крылом, три иконы и поднос с кольцами.

На двери висел колокольчик. Он отозвался так жалобно, что я поняла: в лавку давно не входили с добрыми вестями.

Гурвич оказался маленьким, сухим стариком в пенсне на шнурке и в сюртуке такого покроя, будто он купил его вместе с лавкой. Он посмотрел на меня, на Ларионова, на мои перчатки — и снял пенсне.

— Оценщица, — сказал он. — Ну, конечно. Я ждал вас.

— Когда?

— С августа. — Он повесил пенсне на шнурок и стал похож на старого воробья, который решил сдаться. — С тех пор как продал эту вещь.

Среди пыли и старой кожи я различила фиалки. Едва заметно, но ошибиться было нельзя.

— Расскажите про ожерелье, — сказала я.

— А что рассказывать? — он развёл сухими руками. —

Вещь хорошая. Жемчуг настоящий, нить двойная, застёжка серебро. Купил у семьи Тоневых.

— Когда?

— В тысяча девятьсот первом году. — Он говорил спокойно, как называют дату в метрике. — В июне.

Ларионов рядом со мной не дрогнул. Только очень медленно выдохнул.

— И продали?

— В тысяча девятьсот втором — Вершининым. В тысяча девятьсот седьмом получил обратно. В том же году продал в Тулу, купцу Ерохину. В прошлом году вещь вернулась. В августе её взяли Медведевы.

— Вы её всякий раз принимали обратно, — сказала я. — Зная.

Гурвич помолчал.

— Я антиквар, — сказал он наконец. — У меня не спрашивают, где я беру вещи. Их приносят, потому что в доме покойника всем неловко смотреть на украшения. Близкие не хотят оставлять их себе. Близкие хотят, чтобы вещь ушла и больше не напоминала. — Он поднял глаза. — А я не спрашиваю, почему вещь уходит так легко.

— Это называется не антиквар, — сказала я. — Это называется торговля свидетелем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.